

История большевика жесткова

Category: Kitapcy, Taryhy makalalar

написано kitapcy | 26 января, 2025

История большевика жесткова ИСТОРИЯ БОЛЬШЕВИКА ЖЕСТКОВА



Просматривая старые блокноты, нашёл записи конца 80-х годов о большевике с дореволюционным стажем Хаиме Бляхере, который стал Егором Жестковым. В те годы о таких людях можно было писать только героические очерки, восхваляя их жизненный путь. О другом я тогда не думал. Стал собирать материалы, что-то находил в старых газетах, о чём-то мне рассказывали люди, лично знавшие Егора Ивановича. Тогда ещё эти люди были живы. Но желания опубликовать очерк ни у кого из солидных изданий не было.

То ли написан очерк был не так, как надо, или я не подходил в качестве автора, а возможно, Бляхер, даже ставший Жестковым, не устраивал редакции. Впрочем, для тех лет, привычная история. Мои наработки остались в блокнотах. Хорошо, что тогда не было компьютеров, иначе написанное исчезло бы вместе с рассыпавшимися от старости дисками или с выброшенными на помойку компьютерами.

Перечитал записи в блокнотах, и стало интересно. Иногда бывает желание снова зайти в ту же речку. Решил сделать вторую попытку — написать о Хаиме Бляхере, который стал большевиком Егором Ивановичем Жестковым.

Публикуя этот рассказ (вместо очерка получился рассказ), я изменил имена и фамилии действующих лиц, названия городов и предприятий. Сделал не потому, что хотел что-то скрыть, а чтобы при написании чувствовать себя свободнее. Сути это не изменило и тему в другую сторону не увело.

Хаим Бляхер родился в небольшом городке, в семье, которую местные евреи обходили стороной. Его отец Хацкель Бляхер не ходил в синагогу даже по праздникам, но это полбеды. Он не по-еврейски много пил. Мог уснуть у кого-нибудь в сарае или на улице.

«И никакая холера его не берёт», – говорила о своём муже несчастная Двейра, родившая от него пятеро детей. Как она кормила эту ораву, одевала и ставила на ноги, один Бог знал. Убивалась, стирая чужое бельё, отчего в доме вечно стоял туман с едким запахом мыла. Пар оседал каплями воды на потолке и стенах, капли падали на пол, на головы, и казалось, что в доме Бляхеров всегда идёт дождь. По четвергам Двейра ходила на бойню и перебирала ещё тёплые потроха забитых коров. Что-то ей отдавали домой вместо оплаты за работу, что-то из жалости давали так...

Однажды её муженька всё-таки взяла холера. Ну не совсем холера, но взяла... Двейра клялась и божилась, что не она его прокляла, а всему виной водка. Напился Хацкель на базаре и уснул на крыльце своего дома. Никто не услышал, когда и как он пришёл. Ночью был крепкий мороз, и Хацкель отморозил ноги. Одну удалось спасти – только ампутировали пальцы, а вторую отняли по колено.

Дети подрастали, и бедная Двейра говорила им: «Потерпите ещё немного, забудете про этот ад, и не надо его вспоминать».

Никто из детей ни разу не спросил: «А как же ты, мамочка, будешь без нас?». Двейра ждала этот вопрос, хотя понимала, что свою судьбу уже не изменит. Но вопроса не было, и она только тяжело вздыхала.

Сначала уехала старшая Хана. Пробралась в Петербург, сообщила маме, что служит в богатом еврейском доме, и Двейра была счастлива, рассказывала соседям и родственникам, как хорошо устроилась дочка. Хотя грамотные евреи только снисходительно кивали головой и быстренько уходили от разговора. Молодым красивым еврейкам можно было пробраться через черту оседлости, если они выбирали одну из древнейших профессий. Так это было или нет с Ханой – не знаю и обсуждать не буду.

Однажды Хана подала весточку сестре Риве, и через полгода Рива тоже оказалась в Петербурге.

«Хорошие у меня дочки, – говорила Двейра, – поэтому смогли хорошо устроиться». И снова знающие евреи уходили от разговора.

Хаим учился в хедере. Про него говорили: «А клугер ят», – что в переводе означает «умный парень». Но учёба его никогда серьёзно не волновала. Он тоже хотел поскорее сбежать из дома, чтобы не видеть Хацкеля, который после того как стал инвалидом, днями сидел на крыльце и плакал пьяными слезами.

Хаим пошёл работать. Родственник Двейры готов был взять его к себе в магазин. Говорил, парень три года поработает за еду, зато узнает, как надо правильно торговать, и без куска хлеба сидеть не будет. Но Хаим по натуре был другим. «Мальчиком на побегушках не буду», – сказал он и пошёл работать на лесопилку.

Впервые за многие годы Хацкель посмотрел на сына осмысленными глазами: «У тебя будет другая жизнь». После этого он, как обычно, заплакал и уже сквозь слёзы сказал: «Ненавижу их».

На лесопилке работало человек десять. Евреев – трое или четверо. Хаим сошёлся с братьями Черняками. Старший был каким-то особенным для их городка. Говорили, он под надзором полиции. Двейра просила Хаима быть подальше от него. Хаим слушал и не слышал, что говорила мама.

Когда они садились на доски перекусить, он специально выискивал местечко рядом со старшим Черняком и ловил каждое его слово.

– Почему те, кто работают, перебиваются с хлеба на воду, а другие пируют и жируют? – спрашивал Черняк.

– А как жить по-другому? – удивлялся Хаим.

– Надо много читать, – советовал Черняк, – в умных книгах всё написано.

После того разговора он стал приносить Хаиму книги. И тот не ложился спать, пока не прочтёт то, что принёс Черняк. На завтра Хаим засыпал его вопросами. И все, кто сидел на досках, слушали их, не перебивая.

Так продолжалось месяца полтора. Ближе к осени Черняка не стало. Говорили, увела полиция. Хаим как будто осиротел. Мир стал пустой. Он подошёл к брату Черняка и спросил:

– Где найти старшего?

Черняк ответил ему:

– Не ищи. Езжай в город, устраивайся на работу. Я подскажу адресок.

Городом называли большой центр, через который проходила железная дорога, где работали заводы, фабрики и жило много людей.

Через две субботы Хаим был в городе. Все вещи влезли в один узелок. Мама поплакала на дорогу. Отец сказал: «Беги отсюда». В городе Хаим пришёл в скобяную мастерскую. Обзавёлся новыми знакомыми. Кто-то из них говорил по-еврейски, кто-то – по-русски. Хаим сначала с трудом, но с каждым днём всё легче стал переходить с языка на язык.

Прошло недели две, и однажды в конце работы к Хаиму подошёл парень и сказал: «Пойдём со мной». Ни куда, ни зачем – не объяснял, но Хаим всё понял.

С этого дня его жизнь перевернулась. Он стал ежедневно приходить на кружок. Они собирались на кухне старого деревянного дома на окраине города. Читали, обсуждали, спорили. Рано или поздно это должно было привести к столкновению с властью. И Хаим оказался на каторге.

– Надо быть ближе к людям, – говорили новые друзья. – Тогда за нами пойдёт рабочий народ.

К началу лета, когда стало тепло и не было боязни замёрзнуть в тайге, Хаим совершил побег с каторги. Только теперь был уже не Хаимом, а Егором, и не Бляхером, а Жестковым. Не стеснялся еврейства, не стеснялся имени и фамилии и поменял их не ради конспирации – старался быть ближе к народу.

Придумал и еврейское объяснение произошедшим переменам. Всё-таки еврейство сидело внутри его и так быстро не собиралось улетучиваться. «Если ребёнок в детстве часто болел, ему давали второе имя, чтобы оно принесло здоровье. Все мы родились больными, – уверял Хаим. – Пора выздоравливать самому и всему обществу».

Егор Иванович (не Хацкелевич же!) после побега с каторги оказался в Швейцарии. Примкнул к революционным группам, которых там было предостаточно. Нигде не работал. Но у него было жильё, еда. Он задумывался, откуда берутся деньги. Ему отвечали: «Помогают товарищи».

Хаим-Егор непринуждённо вёл многочасовые беседы на философские темы, научился спорить, размышлял о будущем мироустройстве и даже однажды, когда разговор зашёл на еврейскую тему, сказал, что после революции все станут счастливыми, а поэтому евреи сами откажутся от национальности.

Он ходил с тросточкой. Для фасона. В шляпе. Костюме-тройке. С часами с золотистой цепочкой.

После октябрьских событий 17-го года Жестков вернулся в Россию. Революционеры занимали должности. Егору Ивановичу тоже

выделили кабинет. Учитывая его дореволюционный скобяной стаж, поставили председателем «Роспромскобжести». В Петербурге он не щеголял в костюме-тройке, забыл про тросточку и шляпу. Егор Иванович ходил в косоворотке, подпоясанный ремешком, и скрипел хромовыми сапогами.

Однажды в кабинет пришла дама с ярко покрашенными губами. Он удивлённо посмотрел на неё и только после её слов: «Не узнаёшь, братик?» – понял, что это старшая сестра Хана.

Он поставил перед ней стакан чая в подстаканнике на блюде и спросил:

– Как дела у наших?

Хана к чаю не притронулась, а вместо ответа на вопрос сказала:

– Ты теперь большой начальник, чем поможешь сестричке?

Егор смотрел на сидевшую перед ним женщину и чувствовал неприятие, которое перерастало в злость.

– Чего хочешь? – спросил он, не глядя на сестру.

Хана скривила лицо в улыбке:

– Надо бы деньжат подкинуть сестричке, и жильё хочу другое.

Ривка вон неплохо пристроилась, а я в притоне каком-то...

– Где работаешь?

– Работаю – не работаю... Жить хочу. Поможешь?

Егор Иванович, не поднимая глаз, ответил сестре:

– Работать надо, а не попрошайничать.

Весь разговор – пять минут после двадцати лет.

Хана, как будто случайно, опрокинула стакан с чаем, он разлился по столу, по полу. Не прощаясь, ушла. Больше они не виделись.

Визит Ханы, оставивший тяжёлый осадок, разбередил память, и Егор Иванович решил навестить маму, о которой ничего не слышал все эти годы.

Договорился, что три дня его не будет на службе, купил подарки.

Поездку пришлось отложить. Родителей Егор Иванович так и не увидел. Его вызвали в Совнарком и сказали, что принято решение: «Жестков Егор Иванович возглавит Сибирский районный комитет “Главзолото”». От неожиданности он не мог произнести ни слова. Молчание истолковали как отсутствие энтузиазма, стали говорить слова, которые он прекрасно знал сам. «Стране нужно золото... От него зависит судьба революции... Большевики должны быть впереди... Это фронт...»

Когда поток слов закончился, Егор Иванович услышал конкретное:

«Выезжайте немедленно, золото уходит врагам революции».

На новом месте Жестков завёл семью. Он и до этого жил с женщинами: на каторге, в Швейцарии. Это были подруги по революционной борьбе. А здесь всё было по-другому. Егору Ивановичу дали комнату в двухэтажном доме «Райкомзолота». Мог взять и вторую, и третью комнаты, но отказался. «Зачем мне одному? Отдайте нуждающимся». Среди нуждающихся оказалась бухгалтерша, которая стала его соседкой. Вечером осторожно стучала в дверь и спрашивала: «Не хочет ли горячего супа Егор Иванович?». Приносила пироги с капустой, которые замечательно пекла. Помогала мыть окна. А когда Егор Иванович заболел, лечила его чаем с малиновым вареньем и осталась у него ночевать. Даже когда родился мальчик, она по-прежнему обращалась к нему на Вы и называла по имени-отчеству. Но Егор Иванович физически ощущал, как с каждым днём ограничивается его пространство. Женщины спорили с ним, ссорились, приходили, уходили. А жена не спорила, она диктовала, что он должен делать на службе, кого выбирать в друзья и даже о чём говорить с сыном. Однажды пришла с работы и сказала:

— Ходят слухи, что тебя переводят в губком на большую должность. Почему я об этом ничего не знаю?

— Потому что это только слухи, — ответил Егор Иванович. Он специально не говорил об этом жене. В последнее время он о многом перестал ей говорить.

— Мы уедем с такой должности с пустыми руками? — наседала жена. — Мне говорили, что евреи — умные люди.

Егор Иванович подошёл к окну и закурил папиросу.

— Золото плывёт в руки. Если тебе не надо, подумай о семье. Я поговорила с кем надо. К концу недели мне передадут несколько слитков. На пару месяцев задержимся и уедем, как нормальные люди.

Егор Иванович не стал ругаться и спорить. Он надел пиджак и вышел из дому. Переночевал в своём кабинете. Иногда, когда было много работы, он засиживался там до глубокой ночи и в кабинете на кожаном диване ложился спать.

Назавтра, к концу рабочего дня, жена узнала, что Егор Иванович передал дела заместителю и уехал...

В губкоме Егор Иванович обжился быстро. Встретил старых партийцев, знакомых ещё по ссылке. Энергии ему было не занимать. Он весь ушёл в работу. Когда ему сказали, что бывшая жена написала письмо, мол, в «Главзолоте» он проворовался,

помогал золотом сородичам, которые уезжали в Палестину, Егор Иванович только махнул рукой и сказал: «Проверяйте. Перед партией я чист». Была проверка или нет, он не знал, слухами не интересовался, и история с письмом забылась сама по себе.

Когда губкомы преобразовали в обкомы, Егору Ивановичу дали высокую должность 2-го секретаря. Теперь он и вовсе был дома редким гостем. То в обкоме, то в командировках, то в Москву вызывали. Даже сошёлся со второй женой Егор Иванович незаметно и для окружающих, и, кажется, для самого себя. Не было ухаживания, встреч, пару разговоров – и решили жить вместе.

Вторая жена – член партии с 1918 года, директор швейной фабрики, была замужем, развелась, сыну почти десять лет. Это была образцово-показательная партийно-хозяйственная семья. Все разговоры, как на совещании в обкоме партии. Тем не менее жена успела родить сначала одного сына. Была против второго, говорила, что не имеет права на такую роскошь. Надо работать. Но пропустила нужное время, аборт было делать поздно, и пришлось рожать второго. С детьми сидела её мама, а она, как только смогла, вышла на работу. Дети быстро стали самостоятельными и беспокойств не доставляли.

Любви между супругами не было, но жизнь текла бы размеренно до самой старости. Если бы не партийные чистки. Были такие в начале тридцатых годов. Партийцы откровенно, ничего не скрывая, говорили друг о друге. Во время одного из заседаний на фабрику, которой руководила его жена, приехал Егор Иванович. Он, как полагается, выступил и сказал, что партия требует, чтобы через чистку прошли не только рядовые партийцы, но и руководители. И он у себя в организации на ближайшем заседании пройдёт через чистку. А сегодня партийцы фабрики должны глядя в лицо сказать всё, что знают о директоре. То есть предложил пройти чистку своей жене. Егор Иванович призывал к революционной честности, справедливости. Был уверен – ничего плохого про его жену не скажут. Знал – она на хорошем счету.

Но, наверное, рабочие фабрики его неправильно поняли. Они решили, что обком хочет убрать директора и сделать это их руками. А недовольных и желающих выслужиться всегда хватает. Говорили осторожно и по мелочам: не хватает скромности, не всегда объективно относится к подчинённым. Егор Иванович согласно кивал головой – это были ничего не значащие слова. Но потом встал первый муж директрисы, который тоже работал на

фабрике, и сказал, что дома его бывшая жена хвалила Троцкого. Это было более чем серьёзное обвинение.

Егор Иванович сказал, что обком по-партийному честно отнесётся ко всему и даст соответствующую оценку.

Дома Жестков успокаивал жену, говорил, что получилось какое-то недоразумение, он никак не ожидал, что первый муж, с которым у его жены общий ребёнок и сохранялись вполне пристойные отношения, скажет такие слова. Егор Иванович уверял, что завтра всё отрегулирует, она отделается выговором, останется на работе и потихоньку успокоится.

Рано утром в обком поступила телефонограмма из Москвы – Жесткова вызывали в столицу. «Началось», – подумал он, да и в обкоме пошли слухи, что «началось». Кто ж в те времена мог думать по-другому. Решили прикрыть на всякий случай «свой зад» и опередить события. Егор Иванович вечером выехал в Москву. Поезд шёл двое суток. Пока он добрался до столицы, на фабрике уже состоялось партийное собрание. Поведению директора была дана оценка в духе времени, её исключили из партии, а назавтра уволили с работы. Она тут же собрала вещи, забрала детей и уехала к родителям в Усолье. Счастье, это был ещё не 37-й год. Назавтра Егор Иванович был в Совнаркоме. Там уже знали о его принципиальной оценке поведения жены – они решили, что это он разоблачил скрытого троцкиста, а такие люди ценились властью, и ему предложили должность первого заместителя председателя «Главзолота» с переездом в Москву и с перспективой занять главную должность. Жестков ждал другого, самого худшего, и когда услышал о новом назначении, у него закружилась голова. Он побежал звонить жене и узнал семейные новости. Надо было как-то спасти её. Он пошёл по кабинетам, к старым друзьям-партийцам. Его поздравляли с новым назначением, но когда разговор заходил о жене, в лучшем случае говорили: «Подумаем». А один старинный друг, с кем вместе был в ссылке, сказал: «Успокойся. Её не спасёшь и себя погубишь. Дай время, всё утрясётся».

Егор Иванович ехал из Москвы домой сдавать дела, готовиться к переезду и утешал себя мыслями, что революция требует жертв. Правда, почему жертвой стала его жена, а вместе с ней и его дети – объяснить самому себе не мог. Остановился на том, что рабочий класс всегда прав, и ради него он делал и делает революцию.

В Усольск прощаться с женой и детьми Егор Иванович не поехал.

Не потому, что боялся, как на это отреагируют власти, хотя и это присутствовало. Жестков просто не знал, что он им скажет. Оставил секретарше деньги, велел передать их детям, при этом подчеркнул – детям, и уехал.

Не сказал бы, чтобы часто он вспоминал об оставленных детях, как, впрочем, не часто вспоминал и о первом сыне. Правда, при случае передавал им деньги или подарки. Но заботливым еврейским папой явно не был. Да и откуда ей взяться, заботе. Его отец тоже не заботился ни о нём, ни о его сёстрах и братьях, а мама вспоминала их каждый день и вздыхала, и плакала, но не имела никакой возможности помочь.

В Москве Егор Иванович вспомнил швейцарскую моду – шляпу, костюм-тройку. Ездил на премьеры в театры. К нему вернулись красивые слова и удовольствие от многочасовых бесед на отвлечённые темы. Мужчина в расцвете сил, жил один. Иногда думал, чтобы здесь делали его жёны, первая или вторая. Они бы не вписались в эту жизнь и ежедневно портили бы настроение.

Жестков стал приударять за актрисой Локтевой. Вскоре узнал, что она такая же Локтева, как он Жестков. Фамилия её родителей Гринберг. Но как выходить на московскую сцену с такой несценической фамилией? Её родители живут в одном из небольших городов Беларуси, недалеко от его родителей. В Москве она почти двадцать лет. Узнав схожие подробности биографий, они только посмеялись и больше не возвращались к этой теме. Она ласково называла его Егорушкой. Он её – на французский манер Натали. Хотя Натальей она стала в театре, а дома родители называли Черной. Но что же это за актриса с именем Черна?

Они понимали друг друга с полуслова. Это была счастливая пара. Получили квартиру на Пушкинской площади, бывали в театрах, ходили в «Художественный» на первые звуковые фильмы, могли зайти поужинать в ресторан «Савой». За три года Натали родила Егору Ивановичу двоих девочек. Он хотел мальчика. Она целовала его и говорила:

– А как же театр? Я не смогу без театра.

Однажды ночью за ним приехали. Всплыло письмо, которое давным-давно написала первая жена. Мол, человек, выдававший себя за большевика Жесткова, тайно вывез полчემодана золотых слитков. Был связан со своими антисоветски настроенными сородичами, которым помогал финансово.

Тогда письмо осталось лежать без ответа, а сейчас раскрутили дело «о националистическом подполье».

И актрису Локтеву посадили как «жену изменника родины». Детей успела забрать её сестра Голда Гринберг, которая по-прежнему жила в местечке и не была даже вхожа в их дом. Но ей передали записку от сестры, и она «на крыльях» прилетела в Москву.

Егору Ивановичу сильно повезло. Его не расстреляли в 1937, и спустя пятнадцать лет больным и дряхлым стариком он получил освобождение. В Москве и крупных городах жить запрещалось, да и негде было остановиться. Он приехал в свой городок, где прошло детство и где не был больше сорока лет.

Улица, на которой он жил, сгорела в годы войны. Никого из прежних знакомых не нашёл и собирался уехать. Не знал куда, и поэтому задерживался в дешёвенькой гостинице. Случайно встретил на улице младшего Черняка, с которым когда-то работал на лесопилке. Они мгновенно узнали друг друга.

Черняк тоже сидел в лагерях. Он рассказал Егору про родителей и всех родственников, расстрелянных фашистами и полицией, отвёл Жесткова к тому месту, где была братская могила. Они стояли на краю рва. Ни камня, ни тумбочки. Место никак не было отмечено.

— Как же так? — в сердцах сказал Егор. — Ты же здесь. Не по-человечески это.

— Ты же сам за это боролся, — ответил Черняк, глядя Егору в глаза.

— Не за это я боролся. Не за это, — стал кричать Егор и закашлялся до синевы.

Черняк достал из кармана ватных штанов четвертушку, отбил перочинным ножиком с пробки сургуч, и они выпили по гранёному стаканчику водки. Без слов и безо всякой закуски.

— Что с женой? — спросил Черняк.

— Не вернулась из лагерей...

Черняк боялся спрашивать про детей, но Егор Иванович сам сказал ему:

— Детей ищу, может, погибли вместе с её родственниками, а может, Бог помог.

Впервые за всю жизнь Егор Иванович сказал слово «Бог». Сам того не ожидал, оно просто вырвалось из него.

Он смотрел в глубину рва и плакал пьяными слезами, как когда-то плакал, сидя на крыльце дома его отец Хацкель.

Тридцать лет назад история большевика Жесткова была написана мной по-другому. Время изменило стиль и само отношение к происходившему. Я перечитал её несколько раз и решил узнать,

что было дальше. Егор Иванович был членом партии с дореволюционным стажем. И если ему повезло умереть до развала Советского Союза, возможно, последние годы он провёл в каком-нибудь пансионате для старых членов партии.

Попытался разыскать его внуков или правнуков. Интернет, фейсбук, смартфоны, гаджеты пришли на помощь.

Правнук Жесткова от первой жены живёт в Сибири и серьёзно занимается бизнесом, связанным с золотодобычей. Связан с техникой, работающей на приисках. Это всё, что я узнал о его работе.

— Прадед Жестков? — переспросил он. — А чего это вас интересует? Пишите о старых большевиках? — повторил он мои слова, которые я на ходу придумал. — Слышал о нём пару раз. Где похоронен? А мне какое дело? На семью ему было наплевать. Только о своих Блюхерах заботился.

— Он был Бляхер, — поправил я.

— Какая разница. Сидел на таком месте и ни жене, ни детям копейки не оставил. Нашёл себе другую бабу — позаботься о прежней. Счастье, что прабабушка второй раз замуж вышла, детей родила новому мужу, а этот был нормальный русский мужик, о семье заботился. А так бы с голоду все подошли. Вашего Блюхера знать не хочу. Мы к нему никакого отношения не имеем.

Правнуки от второго брака живут в Москве. Один — большой учёный, говорить со мной не стал, сказал, что родословной не интересуется. Дал телефон брата, посоветовал позвонить ему.

Второй правнук занимается политикой, на слуху и на виду.

— Сводные братья и сёстры по прадеду? — удивился он. — Глубоко копаете. Ничего про них не слышал. Узнаете — расскажите, интересно... Прабабушка и прадедушка... О прабабушке, конечно, слышал. В Усолье несколько раз бывал. Там родственники живут. На могилу приходил. Прадедушка? Большевик, коммунист? — я почувствовал, как изменилась интонация собеседника. — Сталин зря людей не сажал. Они были врагами, думали как изменники. И Жестков был такой, узнавал про него кое-что. Никакого отношения к нему не имеем. Когда его посадили, бабушку вызывали. Она дала показания, что её дети от другого мужчины. Сожительствовала с другим мужчиной, пока Жестков решал свои коммунистические вопросы. Я читал протоколы допросов. Так что ни духовно, ни физически никакого отношения к этому человеку не имеем.

— Может, слышали, где похоронен? — спросил я.

– А какая разница, где его закопали. За упокой души нашей прабабушки я в Усолье свечку поставил. А за него? Ничего плохого не говорю, но мы православные люди, а он другой веры... Правнуков Егора Жесткова и актрисы Локтевой я не нашёл. Вероятно, погибли в годы войны...

Я не судья Хаиму Бляхеру, который забыл о своей родне, не хотел знать и помнить, кто он.

Я не судья Егору Жесткову, который думал о счастье всего человечества и редко вспоминал о близких людях.

Я вообще не судья...

Но жизнь еврея Бляхера, ставшего большевиком Жестковым, заставляет о многом задуматься. Taryhy makalalar